

П.Н.СИЛОНОВ И Е.А. СЕРЕБРЯКОВА

/глава из книги воспоминаний А.В.Силинченко,
уроед. Сухомлиной/.

В первый год, когда мы поселились в Ленинграде, я посетила мамину подругу — народоволку Екатерину Алексеевну Серебрякову, которая жила на Карповке, в Доме литераторов, и познакомилась у нее с художником Павлом Николаевичем Филоновым. Это был высокий худощавый человек, очень оригинальный, ни на кого не похожий. Огромный лоб. Небного скуластое, довольно широкое, но очень худое лицо. Широко расставленные темные глаза. Узкий, длинный рот. Тонкие руки. Пожалуй, он был слегка похож на портрет Бодлера работы Биффе.

Узнав, что я люблю живопись и особенно примитивистов, он загадочно улыбнулся и предложил взглянуть на одну из его картин. Картина называлась "Мать". Первое впечатление, что изображена мадонна с Иисусом и Иосифом, но композиция совсем как у какого-нибудь художника 15 века. Но при ближайшем рассмотрении картина поражала чем-то совершенно новым, ничего общего не имевшим с привычной верой таких художников, как Беато Анжелико или Филиппо Липпи. В изможденном лице матери чувствовалось нечто совсем иное — не вера, а надрывная печаль. Яркие краски неожиданно гармонировали со странными выражениями лиц у всех троих. Картина была окаймлена маленькими рисунками, как бы рамкой из миниатюр. Я была несколько ошарашена. Заметив мою заинтересованность, Филонов стал показывать другие картины и рисунки.

Особенно меня поразила небольшая акварель, которая на выставке картин Филонова называлась "Мужчина и женщина", но которую сам он называл "Беспомощные существа". Ее можно увидеть в каталоге выставки 1930 года под 45 номером, но без красок впечатление сильно терлется. Краски на ней были как бы приглушенные, очень нежные. Ввиду этой небольшой картинки и по бокам ее — прелестные миниатюры. Из больших картин очень понравился "Пир королей" /в каталоге — под 24 номером/, но эта картина еще больше терлет от отсутствия красок. Краски в "Пире королей" были не яркие /как в "Матери"/ и не светлые, а какие-то густо-сочные, скорей темноватые. Сам Филонов и Серебрякова очень любили небольшую картину "Кабачок",

которая, благодаря своей "сделанности", воспринималась как тончайшая гравюра. /"Сделанность" — любимое слово Филонова/.

Павел Николаевич считал себя пролетарским художником — вероятно потому, что сам был из пролетариев. Как-то он с гордостью сказал, что его мать была прачкой, и что рос он в большой нужде. Когда ему говорили, что рабочие не понимают его картин, он сердился: "Рано или поздно поймут!" Надаром он ввел в свои "тезисы по искусству" следующие слова: "Художник-пролетарий должен действовать на интеллект своих товарищей-пролетариев не только тем, что им понятно на нынешней стадии развития". Утверждая в тезисах, что "произведение искусства есть любая вещь, сделанная с максимумом напряжения аналитической сделанности", что "каждая линия должна быть сделана", "вся вещь должна быть сделана и завершена" и что "единственным профессиональным критерием вещи является ее сделанность", он, по-видимому, чувствовал свое родство с рабочими у станка. Павел Николаевич часто совершенно серьезно говорил, когда Серебрякова угощала нас своей стряпней: "Ну чем этот пудинг не творчество, чем не произведение искусства?"

Здесь необходимо рассказать поразительную вещь. Этот еще не старый, сорокапятилетний человек полюбил Серебрякову, которая по годам годилась ему в матери. Началось это так: оба жили в Доме литераторов; Филонов держался волком, ни с кем не разговаривал и даже не раскланивался; ходили слухи, что он — сумасшедший. Кто-то рискнул предложить ему нарисовать портрет народницы Серебряковой, и он, в всеобщему удивлению, согласился. Филонов написал прекрасный портрет /в каталоге — под 12 номером/, во время сеансов они подружились, и он на всю жизнь полюбил ее настоящей любовью. Это самая трогательная любовь, которую я встречала в своей жизни. Надо сказать, что первое время их роман вызывал в Доме литераторов немало насмешек и пересудов.

Я жила в трех шагах от Серебряковой, часто видела их обоих и неизменно наблюдала с его стороны глубокое

уважения и преданность. Она, в свою очередь, любила его страстно и восторгалась безмерно; открыто заявляла, что он — гений, и очень страдала от того, что его не признают. Серебрякова много делала для пропаганды искусства Филонова, участвовала во всех дискуссиях и прениях по поводу его картин и "тезисов по искусству", яростно защищая от нападок врагов. У Филонова была преданная ему группа учеников из молодежи. Под его руководством они расписали стены в Доме печати, на Фонтанке. К улазу посетителей на стенах были изображены сцены из чудовищного происшествия, известного в то время как "Чубаровское дело". Через несколько лет росписи были уничтожены.

В 1937 году я с мужем навестила Филонова и Серебрякову в Ольгино, на даче. С 1930 года они были зарегистрированы и жили официально, как муж с женой. Нас обоих поразила неунывающая молодая любовь к ней. Она, увы, была уже изрядно стара, но он упрямо не хотел замечать этого и с восторгом говорил нам, когда она выходила по хозяйству: "Ну не прелесть ли? Просто Венера, да и только!" Нам было мучительно неловко смотреть на толстоватую старушку, никогда не блиставшую красотой, но Филонов был абсолютно искренен и бесконечно трогателен.

В последний раз я видела их после моего возвращения из ссылки, из Северного Казахстана, в 1940 году. Придя к ним, я застала тяжелую картину. В мое отсутствие Серебрякову разбил паралич, и хотя, после длительного лечения она могла ходить, она была в ужасном виде и говорила так, что нельзя было понять ни слова. К счастью, через несколько минут вернулся Павел Николаевич, который принес хлеб и какую-то подозрительную икру. Он объяснил, что ходит за икрой специально к рыбакам и покупает за гроши, так как рыбаки ее, как правило, выбрасывают. Он стал рассказывать про болезнь Серебряковой, причем во время рассказа нежно держал ее за руку и спрашивал: "Верно я говорю?" Она кивала головой и что-то лепетала, но он чудесно все понимал и тут же переводил ее слова. Я была потрясена его неунывающей преданностью и безграничной нежностью к ней.

Мои собственные несчастья, волнения и хлопоты, не говоря уже о болезни, отвлекли меня от Филонова и Серебряковой. Когда кончилась блокада, я и Леля пошли в Дом литераторов узнать про них. С трудом узнали, что оба умерли во время блокады — он первый, она через несколько дней. Вспоминаю, что он часто говорил: "Я не верю, что умру. Я не признаю смерти. Умирает только тот, кто не хочет жить. А я хочу жить, и я буду жить."
